

**PENGUIN BOOK OF RUSSIAN POETRY (2015)**

Edited by Robert Chandler, Boris Dralyuk, and Irina Mashinski

Selection © 2015

*Russian Text*

*Part IV*

Table of Contents:

**4. THE TWENTIETH CENTURY**

**Иннокентий Фёдорович Анненский (1856-1909)**

<i>«Мухи как мысли» – Flies Like Thoughts</i>	154
<i>В вагоне – In the Train Car</i>	155
<i>Весенний романс («Ещё не царствует река...»)</i> – <i>Spring Song</i>	156
<i>Маки («Весёлый день горит... Среди сомлевших трав...»)</i> – <i>Poppies</i>	156
<i>Зимнее небо – Winter Sky</i>	156
<i>Бронзовый поэт – Bronze Poet</i>	157

**Фёдор Кузьмич Сологуб (1863-1927)**

<i>«Скучная лампа моя зажжена» – My Boring Lamp (extract)</i>	158
---	-----

**Зинаида Гippiус (1869-1945)**

<i>Она («В своей бессовестной и жалкой низости») – “A shameless thing, for ilka vileness able”</i>	160
<i>Дьяволенок – Devillet</i>	160
<i>У. С. («Наших дедов мечта невозможная») – What Have We Done to It?</i>	163

**Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)**

<i>Художник – The Artist (Chekhov)</i>	165
--	-----

**Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872-1952)**

<i>Перед картой России - Before a Map of Russia</i>	166
---	-----

**Михаил Алексеевич Кузмин (1876-1936)**

<i>Александрийские песни («Не знаю, как это случилось...») – Alexandrian Songs (extract)</i>	170
--	-----

<i>Поручение – A Message</i>	171
<b>Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)</b>	
<i>Серп и молот («Пусть гнал нас временный ущерб») – “What if we suffered from the lash”</i>	174
<b>Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932)</b>	
<i>Террор – Terror</i>	177
<i>На дне преисподней – In the Bottomless Pit</i>	178
<i>Россия (отрывок) – Russia (extract)</i>	178
<i>«Фиалки волн и гиацинты пены» – “The violets of waves, the hyacinths of sea-foam”</i>	179
<i>Гражданская война (отрывок) – Civil War (extract)</i>	180
<b>Александр Александрович Блок (1880-1921)</b>	
<i>Незнакомка – The Stranger</i>	183, 185
<i>«Она пришла с мороза» – “She came in out of the frost”</i>	187
<i>«Когда вы стоите на моем пути» – “When you stand in my path”</i>	188
<i>Сусальный ангел – The Sugar Angel</i>	189
<i>В ресторане – In a Restaurant</i>	190
<i>Пляски смерти («Ночь, улица, фонарь, аптека...») – Dances of Death (extract)</i>	191
<i>Коршун – The Kite</i>	192
<i>Двенадцать (отрывок) – The Twelve (extract)</i>	193
<b>Велимир Хлебников (1885-1922)</b>	
<i>Заклятие смехом – Laugh Chant</i>	198
<i>Зверинец – Menagerie</i>	199
<i>«Годы, люди и народы» – “People, years and nations”</i>	203
<i>Воззвание Председателей земного шара (отрывок) – An Appeal by the Chairmen of the Terrestrial Globe (extract)</i>	203
<i>Ночь в окопе (отрывок) – Night in a Trench (extract)</i>	207
<i>Единая книга (отрывок) – The One Book (extract)</i>	207
<i>Самострел любви – Love Flight</i>	208
<i>Ночь в Персии – Night in Persia</i>	209
<i>Голод – Hunger</i>	210
<i>[SOON] – Hunger (extract)</i>	212
<i>[SOON] – “The air is split into black branches”</i>	214
<i>«Москва, ты кто?» – “Moscow, who are you?”</i>	215
<i>«Участок — великая вещь!» – “A police station’s a fine place”</i>	215
<i>Зангеzi (отрывок) – Zangezi (extract)</i>	216
<i>«Мне, бабочке, залетевшей» – “I, a butterfly that has flown”</i>	217
<i>Одинокий лицедей – The Solitary Player</i>	218
<i>«Еще раз, еще раз» – “Once more, once more”</i>	219

**София Яковлевна Парнок (1885-1933)**

<i>«С детства помню: груши есть такие» – A Childhood Memory</i>	221
<i>«В синеватой толще льда» – “They’ve cut a hole in the deep”</i>	221
<i>«Я тебе прощаю все грехи» – “I pardon all your sins”</i>	222

**Николай Степанович Гумилёв (1886-1921)**

<i>Звездный ужас – Stars’ Terror (extract)</i>	224
<i>«Ещё не раз Вы вспомните меня» – “You shall recall me yet, and more than once”</i>	229
<i>Эзбекие – Ezbekiya</i>	230
<i>Заблудившийся трамвай – The Lost Tram</i>	231
<i>Шестое чувство – The Sixth Sense</i>	234

**Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939)**

<i>Путём зерна – The Grain’s Path</i>	236
<i>Обезьяна – The Monkey</i>	237
<i>Гостю – To a Guest</i>	239
<i>Баллада (Из сборника «Тяжелая лира») – Ballad of the Heavy Lyre</i>	239
<i>«Было на улице полутемно» – “Twilight was turning to darkness outside”</i>	241
<i>«Перешагни, перескочи» – Shape Ships to Seek</i>	241
<i>Перед зеркалом – In Front of the Mirror</i>	241
<i>Бедные рифмы – Plainsong</i>	242
<i>Дактили – The Dactyls</i>	243
<i>«Не ямбом ли четырехстопным» – Whyever Not?</i>	244
<i>Памятник («Во мне конец, во мне начало...») – Janus / The Monument</i>	246

**Иннокентий Фёдорович Анненский (1856-1909)**

*«Мухи как мысли»*

*(Памяти Апухтина)*

Я устал от бессонниц и снов,  
На глаза мои пряди нависли:  
Я хотел бы отравой стихов  
Одурманить несносные мысли.

Я хотел бы распутать узлы...  
Неужели там только ошибки?  
Поздней осенью мухи так злы,  
Их холодные крылья так липки.

Мухи-мысли ползут, как во сне,  
Вот бумагу покрыли, чернея...  
О, как, мёртвые, гадки оне...  
Разорви их, сожги их скорее.

<1904>

*В вагоне*

Довольно дел, довольно слов,  
Побудем молча, без улыбок,  
Снежит из низких облаков,  
А горний свет уныл и зыбок.

В непостижимой им борьбе  
Мянутся черные ракиты.  
«До завтра, — говорю тебе, —  
Сегодня мы с тобою квиты».

Хочу, не грезя, не моля,  
Пускай безмерно виноватый,  
Глядеть на белые поля  
Через стекло с налипшей ватой.

А ты красуйся, ты — гори...  
Ты уверяй, что ты простила,  
Гори полоской той зари,  
Вокруг которой все застыло.

<1906>

*Весенний романс*

Ещё не царствует река,  
Но синий лёд она уж топит;  
Ещё не тают облака,  
Но снежный кубок солнцем допит.

Через притворенную дверь  
Ты сердце шелестом тревожишь...  
Ещё не любишь ты, но верь:  
Не полюбить уже не можешь...

<1906>

*Маки*

Весёлый день горит... Среди сомлевших трав  
Все маки пятнами — как жадное бессилье,  
Как губы, полные соблазна и отрав,  
Как алых бабочек развёрнутые крылья.

Весёлый день горит... Но сад и пуст и глух.  
Давно покончил он с соблазнами и пиром,—  
И маки сохлые, как головы старух,  
Осенены с небес сияющим потиром.

<1910>

*Зимнее небо*

Талый снег налетал и слетал,  
Разгораясь, румянились щеки.  
Я не думал, что месяц так мал  
И что тучи так дымно-далеки...

Я уйду, ни о чем не спросив,  
Потому что мой вынулся жребий,  
Я не думал, что месяц красив,  
Так красив и тревожен на небе.

Скоро полночь. Никто и ничей,  
Утомлен самым призраком жизни,  
Я люблюсь на дымы лучей  
Там, в моей обманувшей отчизне.

<1910>



*Бронзовый поэт*

На синем куполе белеют облака,  
И чётко ввысь ушли кудрявые вершины,  
Но пыль уж светится, а тени стали длинны,  
И к сердцу призраки плывут издалека.

Не знаю, повесть ли была так коротка,  
Иль я не дочитал последней половины?..  
На бледном куполе погасли облака,  
И ночь уже идет сквозь чёрные вершины...

И стали — и скамья и человек на ней  
В недвижимом сумраке тяжеле и страшней.  
Не шевелись — сейчас гвоздики засверкают,

Воздушные кусты сольются и растают,  
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнёт,  
С подставки на траву росистую спрыгнёт.

<1910>

**Фёдор Кузьмич Сологуб (1863-1927)**

Скучная лампа моя зажжена,  
Снова глаза мои мучит она.

Господи, если я раб,  
Если я беден и слаб,

Если мне вечно за этим стоном  
Скучным и скудным томиться трудом,

Дай мне в одну только ночь  
Слабость мою превозмочь

И в совершенном созданыи одном  
Чистым навеки зажечься огнем.

<26 августа 1898 года>

**Зинаида Гиппиус (1869-1945)**

*Она*

В своей бессовестной и жалкой низости,  
Она, как пыль, сера, как прах земной.  
И умираю я от этой близости,  
От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,  
Она холодная, она змея.  
Меня изранила противно-жгучая  
Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почуял жало я!  
Неповоротлива, тупа, тиха.  
Такая тяжкая, такая вялая,  
И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,  
Ко мне ласкается, меня душа.  
И эта мертвая, и эта черная,  
И эта страшная — моя душа!

<1905>

*Дьяволенок*

Мне повстречался дьяволенок,  
Худой и щуплый — как комар.  
Он телом был совсем ребенок,  
Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь... Дрожит, темнеет тело,  
Намокла включенная шерсть...  
И я подумал: эко дело!  
Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.  
Не слышно что-то. Не видал.  
Вот жалость... Жалость понимаю.  
И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?  
Не бойся, шерстку не ерошь.  
Что тут на улице тереться?  
Дам детке сахару... Пойдешь?

А он вдруг эдак сочно, зычно,  
Мужским, ласкающим баском  
(Признаться — даже неприлично  
И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.  
Я, сладкий, сахару не ем.  
Давай телятинки да супа...  
Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством...  
А я хотел еще помочь!  
Да ну тебя с твоим нахальством!  
И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко  
Захрюкал... Смотрит, как больной...  
Опять мне жаль... И дьяволенка  
Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,  
Не то дитя, не то старик.  
И всё твердит: «Я сладкий, сладкий...»  
Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком

Совсем сжился я наконец.  
Он в полдень прыгает козленком,  
Под вечер — темен, как мертвец,

То ходит гоголем-мужчиной,  
То вьется бабой вокруг меня,  
А если дождик — пахнет псиной  
И шерстку лижет у огня

Я прежде всем себя тревожил:  
Хотел того, мечтал о том...  
А с ним мой дом... не то, что ожил,  
Но затянулся, как пушком.

Безрадостно-благополучно,  
И нежно-сонно, и темно...  
Мне с дьяволенком сладко-скучно...  
Дитя, старик, — не всё ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,  
Как разлагающийся гриб.  
Такой он цепкий, сладкий, липкий,  
Всё липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — единый.  
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!  
Я сам в ненастье пахну псиной  
И шерсть лижу перед огнем...

<Декабрь 1906>

У. С.

Наших дедов мечта невозможная,  
Наших героев жертва острожная,  
Наша молитва устами несмелыми,  
Наша надежда и воздыхание, —  
    Учредительное Собрание, —  
        Что мы с ним сделали?

<12 ноября 1917>

**Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)***Художник*

Хрустя по серой гальке, он прошёл  
Покатый сад, взглянул по водоёмам,  
Сел на скамью... За новым белым домом  
Хребет Яйлы и близок и тяжёл.

Томясь от зноя, грифельный журавль  
Стоит в кусте. Опущена косица,  
Нога — как трость... Он говорит: «Что, птица?  
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,  
Как будут выносить его — как сизы  
На жарком солнце траурные ризы,  
Как жёлт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,  
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,  
Защёлкает, взовьётся от забора —  
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несётся пыль,  
Горячая, особенно сухая.  
Он снял пенсне и думает, перхая:  
«Да-с, водевиль... Всё прочее есть гиль».

<1908>

**Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872-1952)***Перед картой России*

В чужой стране, в чужом старом доме  
На стене повешен её портрет,  
Её, умершей, как нищенка на соломе,  
В муках, которым имени нет.

Но здесь на портрете она вся, как прежде,  
Она богата, она молода,  
Она в своей пышной зелёной одежде,  
В какой рисовали её всегда.

На лик твой смотрю я, как на икону...  
«Да святится имя твоё, убиенная Русь!»  
Одежду твою рукой тихо трону  
И этой рукою перекрещусь.

<19??>



## Михаил Алексеевич Кузмин (1876-1936)

### *Александрйские песни*

#### III. Она

##### б. «Не знаю, как это случилось...»

Не знаю, как это случилось:  
 моя мать ушла на базар;  
 я вымела дом  
 и села за ткацкий станок.  
 Не у порога (клянусь!), не у порога я села,  
 а под высоким окном.  
 Я ткала и пела;  
 что еще? ничего.  
 Не знаю, как это случилось:  
 моя мать ушла на базар.

Не знаю, как это случилось:  
 окно было высоко.  
 Наверно, подкатил он камень,  
 или влез на дерево,  
 или встал на скамью.  
 Он сказал:  
 «Я думал, это малиновка,  
 а это — Пенелопа.  
 Отчего ты дома? Здравствуй!»  
 «Это ты, как птица, лазаешь по застрехам,  
 а не пишешь своих любезных свитков  
 в суде».  
 «Мы вчера катались по Нилу —  
 у меня болит голова».  
 «Мало она болит,  
 что не отучила тебя от ночных гулянок».  
 Не знаю, как это случилось:  
 окно было высоко.

Не знаю, как это случилось:  
 я думала, ему не достать.  
 «А что у меня во рту, видишь?»  
 «Чему быть у тебя во рту?  
 Крепкие зубы да болтливый язык,  
 глупости в голове».  
 «Роза у меня во рту — посмотри»  
 «Какая там роза!»  
 «Хочешь, я тебе ее дам,

только достань сама».  
Я поднялась на цыпочки,  
я поднялась на скамейку,  
я поднялась на крепкий станок,  
я достала алую розу,  
а он, негодный, сказал:  
«Ртом, ртом,  
изо рта только ртом,  
не руками, чур, не руками!»  
Может быть, губы мои  
и коснулись его, я не знаю.  
Не знаю, как это случилось:  
я думала, ему не достать.

Не знаю, как это случилось:  
я ткала и пела;  
не у порога (клянусь!), не у порога сидела,  
окно было высоко:  
кому достать?  
Мать, вернувшись, сказала:  
«Что это, Зоя,  
вместо нарцисса ты выткала розу?  
Что у тебя в голове?»  
Не знаю, как это случилось.

<1906>

*Поручение*

Если будешь, странник, в Берлине,  
у дорогих моему сердцу немцев,  
где были Гофман, Моцарт и Ходовецкий  
(и Гете, Гете, конечно), —  
кланяйся домам и прохожим,  
и старым, чопорным липкам,  
и окрестным плоским равнинам.  
Там, наверно, все по-другому, —  
не узнал бы, если б поехал,  
но я знаю, что в Шарлоттенбурге,  
на какой-то, какой-то штрассе,  
живет белокурая Тамара  
с мамой, сестрой и братом.  
Позвони не очень громко,  
чтоб она к тебе навстречу вышла  
и состроила милую гримаску.  
Расскажи ей, что мы живы, здоровы,  
часто ее вспоминаем,  
не умерли, а даже закалились,  
скоро совсем попадем в святые,  
что не пили, не ели, не обувались,  
духовными словесами питались,  
что бедны мы (но это не новость:  
какое же у воробьев именье?),  
занялись замечательной торговлей:  
все продаем и ничего не покупаем,  
смотрим на весеннее небо  
и думаем о друзьях далеких.  
Устало ли наше сердце,  
ослабели ли наши руки,  
пусть судят по новым книгам,  
которые когда-нибудь выйдут.  
Говори не очень пространно,  
чтобы, слушая, она не заскучала.  
Но если ты поедешь дальше  
и встретишь другую Тамару —  
вздогни, вздогни, странник,  
и закрой лицо свое руками,  
чтобы тебе не умереть на месте,  
слыша голос незабываемо крылатый,  
следа за движеньями вещей Жар-Птицы,  
смотря на темное, летучее солнце.

<Май 1922>

**Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)***Серп и молот*

Пусть гнал нас временный ущерб  
В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:  
Нет, не случайно новый герб  
Зажжен над миром — Серп и Молот!

Мы землю вновь вспоим трудом,  
Меч вражий будет вновь расколот:  
Недаром мы, блестя серпом,  
Взметнули дружно мощный молот.

Но смело, мысль, в такие дни  
Лети за грань, в планетный холод!  
Вселенский серп, сев истин жни,  
Толщь тайн дроби, вселенский молот!

Мир долго жил! Довольно лжи!  
Как в осень, плод поспелый золот,  
В единый сноп, серп, нас вложи,  
В единый цоколь скуй нас, молот!

Но вечно светом вешних верб  
Дух человека свеж и молод!  
Точи для новой жатвы серп,  
Храни для новой битвы молот!

<13 мая 1921>

**Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932)***Террор*

Собирались на работу ночью. Читали  
Донесенья, справки, дела.  
Торопливо подписывали приговоры.  
Зевали. Пили вино.

С утра раздавали солдатам водку.  
Вечером при свече  
Выкликали по спискам мужчин, женщин.  
Сгоняли на тёмный двор.

Снимали с них обувь, бельё, платье.  
Связывали в тюки.  
Грузили на подводу. Увозили.  
Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голых  
По оледенелым камням,  
Под северо-восточным ветром  
За город в пустыри.

Загоняли прикладами на край обрыва.  
Освещали ручным фонарём.  
Полминуты работали пулемёты.  
Доканчивали штыком.

Ещё недобитых валили в яму.  
Торопливо засыпали землёй.  
А потом с широкою русскою песней  
Возвращались в город домой.

А к рассвету пробирались к тем же оврагам  
Жёны, матери, псы.  
Разрывали землю. Грызлись за кости.  
Целовали милую плоть.

<26 апреля 1921>

<Симферополь>

*На дне преисподней*

*Памяти А. Блока и Н. Гумилёва*

С каждым днём всё диче и всё глуше  
Мертвенная цепенеет ночь.  
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:  
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Тёмен жребий русского поэта:  
Неисповедимый рок ведёт  
Пушкина под дуло пистолета,  
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,  
Горькая детоубийца — Русь!  
И на дне твоих подвалов сгину,  
Иль в кровавой луже поскользнусь,  
Но твоей Голгофы не покину,  
От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,  
Но судьбы не изберу иной:  
Умирать, так умирать с тобой,  
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

<12 января 1922>

<Коктебель>

*Россия* (отрывок)

4.

Великий Петр был первый большевик,  
 Замысливший Россию перебросить,  
 Склонениям и нравам вопреки,  
 За сотни лет к её грядущим далям.  
 Он, как и мы, не знал иных путей,  
 Опричь указа, казни и застенка,  
 К осуществленью правды на земле.  
 Не то мясник, а может быть, ваятель —  
 Не в мраморе, а в мясе высекал  
 Он топором живую Галатею,  
 Кромсал ножом и шваркал лоскуты.  
 Строителю необходимо сручье:  
 Дворянство было первым Р.К.П. —  
 Опричниною, гвардией, жандармом,  
 И парником для ранних овощей.

[...]

6.

[...]

Вся наша непашь буйно заросла  
 Разрыв-травой, быльём да своевольем.  
 Размахом мысли, дерзостью ума,  
 Паденьями и взлётами — Бакунин  
 Наш истый лик отобразил вполне.  
 В анархии всё творчество России:  
 Европа шла культурою огня,  
 А мы в себе несём культуру взрыва.  
 Огню нужны — машины, города,  
 И фабрики, и доменные печи,  
 А взрыву, чтоб не распылить себя, —  
 Стальной нарез и маточник орудий.  
 Отсюда — тяж советских обручей  
 И тугоплавкость колб самодержавья.  
 Бакунину потребен Николай,  
 Как Пётр — стрельцу, как Аввакуму — Никон.  
 Поэтому так непомерна Русь  
 И в своевольи, и в самодержавьи.  
 И нет истории темней, страшней,  
 Безумней, чем история России.

[...]

<6 февраля 1924>  
<Коктебель>



Фиалки волн и гиацинты пены  
Цветут на взморье около камней.  
Цветами пахнет соль...

Один из дней,  
Когда не жаждет сердце перемены  
И не торопит преходящий миг,  
Но пьёт так жадно златокудрый лик  
Янтарных солнц, просвеченный сквозь просинь.  
Такие дни под старость дарит осень...

<20 ноября 1926>

*Гражданская война* (отрывок)

[...]

И там и здесь между рядами  
Звучит один и тот же глас:  
«Кто не за нас — тот против нас.  
Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них  
В ревущем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

<22 ноября 1919>

<Коктебель>

**Александр Александрович Блок (1880-1921)***Незнакомка*

По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,  
Над скукой загородных дач,  
Чуть золотится крендель булочной,  
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,  
Заламывая котелки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,  
И раздаётся женский визг,  
А в небе, ко всему приученный,  
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный  
В моём стакане отражен  
И влагой терпкой и таинственной,  
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков  
Лакеи сонные торчат,  
И пьяницы с глазами кроликов  
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

И веют древними поверьями  
Её упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,  
Смотрю за тёмную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,  
Мне чьё-то солнце вручено,  
И все души моей излучины  
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склонённые  
В моём качаются мозгу,  
И очи синие бездонные  
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне!  
Ты право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.

<24 апреля 1906. Озерки>

Она пришла с мороза,  
Раскрасневшаяся,  
Наполнила комнату  
Ароматом воздуха и духов,  
Звонким голосом  
И совсем неуважительной к занятиям  
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол  
Толстый том художественного журнала,  
И сейчас же стало казаться,  
Что в моей большой комнате  
Очень мало места.

Все это было немножко досадно  
И довольно нелепо.  
Впрочем, она захотела,  
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».

Едва дойдя до пузырей земли,  
О которых я не могу говорить без волнения,  
Я заметил, что она тоже волнуется  
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот  
С трудом лепится по краю крыши,  
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,  
Что целовались не мы, а голуби,  
И что прошли времена Паоло и Франчески.

<6 февраля 1908>

Когда вы стоите на моем пути,  
Такая живая, такая красивая,  
Но такая измученная,  
Говорите все о печальном,

Думаете о смерти,  
Никого не любите  
И презираете свою красоту —  
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,  
Не обманщик и не гордец,  
Хотя много знаю,  
Слишком много думаю с детства  
И слишком занят собой.  
Ведь я — сочинитель,  
Человек, называющий все по имени,  
Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,  
Сколько ни размышляйте о концах и началах,  
Все же, я смею думать,  
Что вам только пятнадцать лет.  
И потому я хотел бы,  
Чтобы вы влюбились в простого человека,  
Который любит землю и небо  
Больше, чем рифмованные и нерифмованные  
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,  
Так как — только влюбленный  
Имеет право на звание человека.

<6 февраля 1908>

*Сусальный ангел*

На разукрашенную елку  
И на играющих детей  
Сусальный ангел смотрит в щелку  
Закрытых наглухо дверей.

А няня топит печку в детской,  
Огонь трещит, горит светло...  
Но ангел тает. Он — немецкий.  
Ему не больно и тепло.

Сначала тают крылья крошки,  
Головка падает назад,  
Сломались сахарные ножки  
И в сладкой лужице лежат...

Потом и лужица засохла.  
Хозяйка ищет — нет его...  
А няня старая оглохла,  
Ворчит, не помнит ничего...

Ломайтесь, тайте и умрите,  
Создания хрупкие мечты,  
Под ярким пламенем событий,  
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что в вас толку?  
Пускай лишь раз, былым дыша,  
О вас поплачет втихомолку  
Шалунья девочка — душа...

<25 ноября 1909>

*В ресторане*

Никогда не забуду (он был, или не был,  
Этот вечер): пожаром зари  
Сожжено и раздвинуто бледное небо,  
И на жёлтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.  
Где-то пели смычки о любви.  
Я послал тебе чёрную розу в бокале  
Золотого, как небо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко  
Взор надменный и отдал поклон.  
Обратясь к кавалеру, намеренно резко  
Ты сказала: «И этот влюблён».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,  
Иступлённо запели смычки...  
Но была ты со мной всем презрением юным,  
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,  
Ты прошла, словно сон мой легка...  
И вздохнули духи, задремали ресницы,  
Зашептались тревожно шелка.

Но из глубы зеркал ты мне взоры бросала  
И, бросая, кричала: «Лови!..»  
А монисто бренчало, цыганка плясала  
И визжала заре о любви.

<19 апреля 1910>



*Пляски смерти*

2.

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи ещё хоть четверть века —  
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь — начнёшь опять сначала  
И повторится всё, как встарь:  
Ночь, ледяная рябь канала,  
Аптека, улица, фонарь.

&lt;10 октября 1912&gt;

*Коршун*

Чертя за кругом плавный круг,  
Над сонным лугом коршун кружит  
И смотрит на пустынный луг. —  
В избушке мать над сыном тужит:  
«На́ хлеба, на́, на́ грудь, соси,  
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,  
Встаёт мятеж, горят деревни,  
А ты всё та ж, моя страна,  
В красе заплаканной и древней. —  
Доколе матери тужить?  
Доколе коршуну кружить?

<22 марта 1916>

*Двенадцать* (отрывок)

[...]

12.

...Вдаль идут державным шагом...  
 — Кто еще там? Выходи!  
 Это — ветер с красным флагом  
 Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,  
 — Кто в сугробе — выходи!..  
 Только нищий пес голодный  
 Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,  
 Я штыком щекечучу!  
 Старый мир, как пес паршивый,  
 Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —  
 Хвост поджал — не отстает —  
 Пес холодный — пес безродный...  
 — Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?  
 — Приглядись-ка, эка тьма!  
 — Кто там ходит беглым шагом,  
 Хоронясь за все дома?

— Все равно, тебя добуду,  
 Лучше сдайся мне живьем!  
 — Эй, товарищ, будет худо,  
 Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо  
 Откликается в домах...  
 Только вьюга долгим смехом  
 Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!  
 Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом,  
 Позади — голодный пес,  
 Впереди — с кровавым флагом,  
 И за вьюгой, невидим,

И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди — Иисус Христос.

<Январь 1918>

**Велимир Хлебников (1885-1922)***Заклятие смехом*

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянутся смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

<1908-9>

*Зверинец*

*Посв<ящается> В. И. [Вяч. И. Иванов (1866-1949)]*

О, Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера, днем.

Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

Где люди ходят насупившись и сумные.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв — осенней рожице, — немного осторожен и недоверчив для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где у австралийских птиц хочется взять хвост и, ударя по струнам, воспеть подвиги русских.

Где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни, ценой смерти, ценой всего.

Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме печальных и кратких, вечно раздражены присутствием человека.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: «Есть хоцца! Поесть бы!» — и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказа сторожа.

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой золотой закат со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с воплем носящийся по клетке.

Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрчивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющей кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где заввысокая жирафа стоит и смотрит.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов посмотреть на небо в ожидании грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо, потом на лапу.

Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится? Или ему жарко?

Где лось целует сквозь изгородь плоскорогого буйвола.

Где олени лижут холодное железо.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты, с движениями человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.

Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».

Где львы дремлют, опустив лица на лапы.

Где олени неустанно стучат об решетку рогами и колотятся головой.

Где утки одной породы в сухой клетке поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный — имеет ли оно ноги и клюв? — божеству молебен.

Где цесарки — иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур.

Где волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами.

Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть долго, я осыпаем единодушным «дюрьяк!» и кожей семян праздных попугаев, болтающих гладко.

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой высокой черноглазой ламы и у плоскорогого низкогобуйвола и у прочих жвачных движется ровно направо и налево, как жизнь страны.

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, оком имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в прирожденном искусстве, с которым они подхватывают на лету брошенную тюленям еду.



Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под заломленной бровью, и этой птицы — родича царственных птиц — один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. О, сокола, побивающие грудью цапель! И острый протянутый кверху клюв ее! И булавка, на которую насекомых садит редко носитель чести, верности и долга!

Где красная, стоящая на лапчатых ногах утка заставляет вспомнить о черепах тех павших за родину русских, в костяках которых ее предки вили гнезда.

Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь давшим обет безбрачия.

Где Россия произносит имя казака, как орел клеток.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. О, серые морщинистые горы! Покрытые лишаями и травами в ущельях!

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов Слово о полку Игореве во время пожара Москвы.

<Лето 1909, 1911>

Годы, люди и народы  
Убегают навсегда,  
Как текучая вода.  
В гибком зеркале природы  
Звезды — невод, рыбы — мы,  
Боги — призраки у тьмы.

<1915>

*Воззвание Председателей земного шара (отрывок)*

Только мы, свернув ваши три года войны  
 В один завиток грозной трубы,  
 Поем и кричим, поем и кричим,  
 Пьяные прелестью той истины,  
 Что Правительство земного шара  
 Уже существует.  
 Оно — Мы.  
 [...]

А пока, матери,  
 Уносите своих детей,  
 Если покажется где-нибудь государство.  
 Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры  
 И в глубь моря,  
 Если увидите где-нибудь государство.  
 Девушки и те, кто не выносит запаха мертвых,  
 Падайте в обморок при слове «границы»  
 Они пахнут трупами.  
 Ведь каждая плаха была когда-то  
 Хорошим сосновым деревом,  
 Кудрявой сосной.  
 Плаха плоха только тем,  
 Что на ней рубят головы людям.  
 Так, государство, и ты —  
 Очень хорошее слово со сна —  
 В нем есть 11 звуков,  
 Много удобства и свежести,  
 Ты росло в лесу слов:  
 Пепельница, спичка, окурок,  
 Равный меж равными.  
 Но зачем оно кормится людьми?  
 Зачем отечество стало людоедом,  
 А родина его женой?  
 Эй! Слушайте!  
 Вот мы от имени всего человечества  
 Обращаемся с переговорами  
 К государствам прошлого:  
 Если вы, о государства, прекрасны,  
 Как вы любите сами о себе рассказывать  
 И заставляете рассказывать о себе  
 Своих слуг,  
 То зачем эта пища богов?  
 Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях  
 Между клыками и коренными зубами?  
 Слушайте, государства пространств,  
 Ведь вот уже три года  
 Вы делали вид,

Что человечество — только пирожное,  
 Сладкий сухарь, тающий у вас во рту;  
 А если сухарь запрыгает бритвой и скажет: мамочка!  
 Если его посыпать нами,  
 Как ядом?  
 Отныне мы приказываем заменить слова: «Милостью Божьей» —  
 «Милостью Фиджи».  
 Прилично ли Господину Земному Шару  
 (Да творится воля его)  
 Поощрять соборное людоедство  
 В пределах себя?  
 И не высоким ли холопством  
 Со стороны людей, как едомых,  
 Защищать своего верховного Едока?  
 Послушайте! Даже муравьи  
 Брызгают муравьиной кислотой на язык медведя.  
 Если же возразят,  
 Что государство пространств не подсудно,  
 Как правовое соборное лицо,  
 Не возразим ли мы, что и человек  
 Тоже двурукое государство  
 Шариков кровяных и тоже соборен.  
 Если государства плохи,  
 То кто из нас ударит палец о палец,  
 Чтобы отсрочить их сон  
 Под одеялом: навеки?—  
 Вы недовольны, о государства  
 И их правительства,  
 Вы предостерегающе щелкаете зубами  
 И делаете прыжки. Что ж!  
 Мы — высшая сила  
 И всегда сможем ответить  
 На мятеж государств,  
 Мятеж рабов, —  
 Метким письмом.  
 Стоя на палубе слова «надгосударство звезды»  
 И не нуждаясь в палке в час этой качки,  
 Мы спрашиваем, что выше:  
 Мы, в силу мятежного права,  
 И неоспоримые в своем первенстве,  
 Пользуясь охраной законов о изобретении  
 И объявившие себя Председателями земного шара,  
 Или вы, правительства  
 Отдельных стран прошлого,  
 Эти будничные остатки около боен  
 Двунюгих быков,  
 Трупной влагой коих вы помазаны?  
 Что касается нас, вождей человечества,

Построенного нами по законам лучей  
При помощи уравнений рока,  
То мы отрицаем господ,  
Именующих себя правителями,  
Государствами и другими книгоиздательствами,  
И торговыми домами «Война и Ко»,  
Приставившими мельницы милого благополучия  
К уже трехлетнему водопаду  
Вашего пива и нашей крови  
С беззащитно красной волной.  
Мы видим государства, павшие на меч  
С отчаяния, что мы пришли.  
С родиной на устах,  
Обмахиваясь веером военно-полевого устава,  
Вами нагло выведена война  
В круг Невест человека.  
А вы, государства пространств, успокойтесь  
И не плачьте, как девочки.  
Как частное соглашение частных лиц,  
Вместе с обществами поклонников Данте,  
Разведения кроликов, борьбы с сусликами,  
Вы войдете под сень изданных нами законов.  
Мы вас не тронем.  
Раз в году вы будете собираться на годовые собрания,  
Делая смотр редееющим силам  
И опираясь на право союзов.  
Оставайтесь добровольным соглашением  
Частных лиц, никому не нужным  
И никому не важным,  
Скучным, как зубная боль  
У Бабушки 17 столетия.  
Вы относитесь к нам,  
Как волосатая ного-рука обезьянки,  
Обожженная неведомым богом-пламенем,  
К руке мыслителя, спокойно  
Управляющей вселенной,  
Этого всадника оседланного рока.  
Больше того: мы основываем  
Общество для защиты государств  
От грубого и жестокого обращения  
Со стороны общин времени.  
Как стрелочники  
У встречных путей Прошлого и Будущего,  
Мы так же хладнокровно относимся  
К замене ваших государств  
Научно построенным человечеством,  
Как к замене липового лаптя  
Зеркальным заревом поезда.

Товарищи-рабочие! Не сетуйте на нас:  
Мы, как рабочие-зодчие,  
Идем особой дорогой, к общей цели.  
Мы — особый род оружия.  
Итак, боевая перчатка  
Трех слов: Правительство земного шара —  
Брошена.  
Перерезанное красной молнией  
Голубое знамя безволода,  
Знамя ветреных зорь, утренних солнц  
Поднято и развевается над землей,  
Вот оно, друзья мои!  
Правительство земного шара.

<21 апреля 1917>

*Ночь в окопе* (отрывок)

[...]

Цветы нужны, чтоб скрасить гробы,

А гроб напомнит: мы — цветы...

Недолговечны, как они.

[...]

<Весна 1920>

*Единая книга (отрывок)*

Я видел, что черные Веды,  
 Коран и Евангелие,  
 И в шелковых досках  
 Книги монголов  
 Из праха степей,  
 Из кизяка благовонного,  
 Как это делают  
 Калмычки зарей,  
 Сложили костер  
 И сами легли на него —  
 Белые вдовы в облако дыма скрывались,  
 Чтобы ускорить приход  
 Книги единой,  
 Чьи страницы — большие моря,  
 Что трепещут крылами бабочки синей,  
 А шелковинка-закладка,  
 Где остановился взором читатель, —  
 Реки великие синим потоком:  
 Волга, где Разина ночью поют,  
 Желтый Нил, где молятся солнцу,  
 Янцекянг, где жижа густая людей,  
 И ты, Миссисипи, где янки  
 Носят штанами звездное небо,  
 В звездное небо окутали ноги,  
 И Ганг, где темные люди — деревья ума,  
 И Дунай, где в белом белые люди,  
 В белых рубахах стоят над водой,  
 И Замбези, где люди черней сапога,  
 И бурная Обь, где бога секут  
 И ставят в угол глазами  
 Во время еды чего-нибудь жирного,  
 И Темза, где серая скука.  
 Род человечества — книги читатель,  
 А на обложке — надпись творца,  
 Имя мое — письмена голубые.  
 [...]

В этих страницах прыгает кит  
 И орел, огибая страницу угла,  
 Садится на волны морские, груди морей,  
 Чтоб отдохнуть на постели орлана.

<1919-1920-1922>



*Самострел любви*

Хотите ли вы  
Стать для меня род тетивы  
Из ваших кос крученных?  
На лук ресниц, в концах печеный,  
Меня стрелою нате,  
И я умчусь грозы пернатей.

<25 января 1921>

*Ночь в Персии*

Морской берег.  
Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу.  
А подушка — не камень, не перья:  
Дырявый сапог моряка.  
В них Самородов в красные дни  
На море поднял восстанье  
И белых суда увел в Красноводск,  
В красные воды.  
Темнеет. Темно.  
«Товарищ, иди, помогай!» —  
Иранец зовет, черный, чугунный,  
Подымая хворост с земли.  
Я ремень затянул  
И помог взвалить.  
«Саул!» ( «Спасибо» по-русски.)  
Исчез в темноте.  
Я же шептал в темноте  
Имя Мехди.  
Мехди?  
Жук, летевший прямо с черного  
Шумного моря,  
Держа путь на меня,  
Сделал два круга над головой  
И, крылья сложив, опустился на волосы.  
Тихо молчал и после  
Вдруг заскрипел,  
Внятно сказал знакомое слово  
На языке, понятном обоим.  
Он твердо и ласково сказал свое слово.  
Довольно! Мы поняли друг друга!  
Темный договор ночи  
Подписан скрипом жука.  
Крылья подняв, как паруса,  
Жук улетел.  
Море стерло и скрип и поцелуй на песке.  
Это было!  
Это верно до точки!

&lt;1921&gt;

*Голод*

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,  
Прочь удаляясь?  
Люди съели кору осины,  
Елей побеги зеленые...  
Жены и дети бродят по лесу  
И собирают березы листы  
Для щей, для окрошки, борща,  
Елей верхушки и серебряный мох —  
Пища лесная.  
Дети, разведчики леса,  
Бродят по рощам,  
Жарят в костре белых червей,  
Зайчью капусту, гусениц жирных  
Или больших пауков — они слаще орехов.  
Ловят кротов, ящериц серых,  
Гадов шипящих стреляют из лука,  
Хлебцы пекут из лебеды.  
За мотыльками от голода бегают:  
Целый набрали мешок,  
Будет сегодня из бабочек борщ —  
Мамка сварит.  
На зайца что нежно прыжками скачет по лесу,  
Дети, точно во сне,  
Точно на светлого мира видение,  
Восхищенные, смотрят большими глазами,  
Святыми от голода,  
Правде не верят.  
Но он убегает проворным виденьем,  
Кончиком уха чернея.  
Вдогонку ему стрела полетела,  
Но поздно — сытный обед ускакал.  
А дети стоят очарованные...  
«Бабочка, глянь-ка, там пролетела...  
Лови и беги! А там голубая!...»  
Хмуро в лесу. Волк прибежал издалёка  
На место, где в прошлом году  
Он скушал ягненка.  
Долго крутился юлой, всё место обнюхал,  
Но ничего не осталось —  
Дела муравьев, — кроме сухого копытца.  
Огорченный, комковатые ребра поджал  
И утек за леса.  
Там тетеревов алобровых и седых глухарей,  
Заснувших под снегом, будет лапой  
Тяжелой давить, брызгами снега осыпан...  
Лисонька, огнёвка пушистая,

Комочком на пень взобралась  
И размышляла о будущем...  
Разве собакою стать?  
Людам на службу пойти?  
Сеток растянуто много —  
Ложись в любую...  
Нет, дело опасное.  
Съедят рыжую лиску,  
Как съели собак!  
Собаки в деревне не лают...  
И стала лисица пуховыми лапками мыться,  
Взвивши кверху огненный парус хвоста.  
Белка сказала, ворча:  
«Где же мои орехи и желуди? —  
Скушали люди!»  
Тихо, прозрачно, уж вечерело,  
Лепетом тихим сосна целовалась  
С осинкой.  
Может, на завтра их срубят на завтрак.

<7 октября 1921>

Москва, ты кто?  
Чаруешь или зачарована?  
Куешь свободу  
Иль закована?  
Чело какою думой морщится?  
Ты — мировая заговорщица.  
Ты, может, светлое окошко  
В другие времена,  
А может, опытная кошка:  
Велят науки распинать  
Под острыми бритвами умных ученых,  
Застывших над старою книгою  
На письменном столе  
Среди учеников?  
О, дочь других столетий,  
О, с порохом бочонок —  
<Твоих> разрыв оков.

<15 декабря 1921>

Участок — великая вещь!  
Это — место свиданья  
Меня и государства.  
Государство напоминает,  
Что оно все еще существует!

<Начало 1922>

*Зангези (отрывок)*

Они голубой тихославль,  
Они голубой окопад.  
Они в никогда улетабль,  
Их крылья шумят невпопад.  
Летуры летят в собеса  
Толпою ночей исчезаев.  
Потоком крылатой этоты,  
Потопом небесной нетоты.  
Летели незурные стоны,  
Свое позабывшие имя,  
Лелеять его нехотяи.  
Умчались в пустыни зовели,  
В всегдаве небес иногдава,  
Нетава, земного нетава!  
Летоты, летоты инес!  
Вечернего воздуха дайны,  
Этавель задумчивой тайны,  
По синему небу бегуричи,  
Нетуричей стая, незуричей,  
Потопом летят в инеса,  
Летуры летят в собеса!  
Летавель могучей виданой,  
Этой безвестной и странной,  
Крылом белоснежные махари,  
Полета усталого знахари,  
Сияны веянами дахари.  
Река голубого летога,  
Усталые крылья мечтога,  
Широкие песни ничтога.  
В созвездиях босы,  
Там умерло «ты».  
У них небесурные косы,  
У них небесурные рты!  
В потоке востока всегдава,  
Они улелят в никогдавель.  
Очами земного нетеж,  
Закона земного нетуры,  
Они в голубое летеж,  
Они в голубое летуры.  
Окутаны вещею грустью,  
Лелят к доразумному устью,  
Нетурные крылья, грезурные рты!  
Незурные крылья, нетурные рты!  
У них небесурные лица,  
Они голубого столица.  
По синему небу бегуричи!

Огнестром лелестра небес.  
Их дико грезурные очи,  
Их дико незурные рты.

<1921-22>



Мне, бабочке, залетевшей  
В комнату человеческой жизни,  
Оставить почерк моей пыли  
По суровым окнам, подписью узника,  
На строгих стеклах рока.  
Так скучны и серы  
Обои из человеческой жизни!  
Окон прозрачное «нет»!  
Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,  
Мою голубую бурю крыла — первую свежесть.  
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки.  
Бьюсь я устало в окно человека.  
Вечные числа стучатся оттуда  
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.

<1921>

*Одинокий лицедей*

И пока над Царским Селом  
Лилось пенье и слезы Ахматовой,  
Я, моток волшебницы разматывая,  
Как сонный труп, влачился по пустыне,  
Где умирала невозможность,  
Усталый лицедей,  
Шагая напролом.  
А между тем курчавое чело  
Подземного быка в пещерах темных  
Кроваво чавкало и кушало людей  
В дыму угроз нескромных.  
И волей месяца окутан,  
Как в сонный плащ, вечерний странник  
Во сне над пропастями прыгал  
И шел с утеса на утес.  
Слепой, я шел, пока  
Меня свободы ветер двигал  
И бил косым дождем.  
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости  
И у стены поставил.  
Как воин истины я ею потрясал над миром:  
Смотрите, вот она!  
Вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы!  
И с ужасом  
Я понял, что я никем не видим,  
Что нужно сеять очи,  
Что должен сеятель очей идти!

<Конец 1921 — начало 1922>

Еше раз, еще раз,  
Я для вас  
Звезда.  
Горе моряку, взявшему  
Неверный угол своей ладьи  
И звезды:  
Он разобьется о камни,  
О подводные мели.  
Горе и Вам, взявшим  
Неверный угол сердца ко мне:  
Вы разобьетесь о камни,  
И камни будут надсмехаться  
Над Вами,  
Как вы надсмехались  
Надо мной.

<Май 1922>

**София Яковлевна Парнок (1885-1933)**

С детства помню: груши есть такие —  
Сморщенные, мелкие, тугие.  
И такая терпкость скрыта в них,  
Что, едва укусишь, — сводит челюсть:  
Так вот для меня и эта прелесть  
Злых, оскомистых стихов твоих.

<1927>

В синеватой толще льда  
Люди прорубили прорубь:  
Рыбам и рыбешкам — продох,  
Водочерпиям — вода,  
Выход — путнице усталой,  
Если напоследок стало  
С жизнью ей не по пути, —  
Если некуда идти!

<1931>

Я тебе прощаю все грехи,  
Не прощаю только этих двух:  
Про себя читаешь ты стихи,  
А целуешь вслух.

Веселись, грехи и хорошей,  
Только помни мой родительский наказ —  
Поцелуй, мой друг, не для ушей,  
Музыка, мой ангел, не для глаз.

<1931>

**Николай Степанович Гумилёв (1886-1921)***Звездный ужас*

Это было золотою ночью,  
Золотою ночью, но безлунной,  
Он бежал, бежал через равнину,  
На колени падал, поднимался,  
Как подстреленный метался заяц,  
И горячие струились слезы  
По щекам, морщинами изрытым,  
По козлиной старческой бородке.  
А за ним его бежали дети,  
А за ним его бежали внуки,  
И в шатре из небеленой ткани  
Брошенная правнучка визжала.

— Возвратись, — ему кричали дети,  
И ладони складывали внуки, —  
Ничего худого не случилось,  
Овцы не наелись молочая,  
Дождь огня священного не залил,  
Ни косматый лев, ни зенд жестокий  
К нашему шатру не подходили. —

Черная пред ним чернела круча,  
Старый кручи в темноте не видел,  
Рухнул так, что затрещали кости,  
Так что чуть души себе не вышиб.  
И тогда еще ползти пытался,  
Но его уже схватили дети,  
За полы придерживали внуки,  
И такое он им молвил слово:

— Горе! Горе! Страх, петля и яма  
Для того, кто на земле родился,  
Потому что столькими очами  
На него взирает с неба черный  
И его высматривает тайны.

Этой ночью я заснул, как должно,  
Обвернувшись шкурой, носом в землю,  
Снилась мне хорошая корова  
С выменем отвислым и раздутым,

Под нее подполз я, поживиться  
Молоком парным, как уж, я думал,

Только вдруг она меня лягнула,  
 Я перевернулся и проснулся:  
 Был без шкуры я и носом к небу.  
 Хорошо еще, что мне вонючка  
 Правый глаз поганым соком выжгла,  
 А не то, гляди я в оба глаза,  
 Мертвым бы остался я на месте.  
 Горе! Горе! Страх, петля и яма  
 Для того, кто на земле родился. —

Дети взоры опустили в землю,  
 Внуки лица спрятали локтями,  
 Молчаливо ждали все, что скажет  
 Старший сын с седой бородою,  
 И такое он промолвил слово:

— С той поры, что я живу, со мною  
 Ничего худого не бывало,  
 И мое выстукивает сердце,  
 Что и впредь худого мне не будет,  
 Я хочу обоими глазами  
 Посмотреть, кто это бродит в небе. —

Вымолвил и сразу лег на землю,  
 Не ничком на землю лег, спиною,  
 Все стояли, затаив дыханье,  
 Слушали и ждали очень долго.  
 Вот старик спросил, дрожа от страха:  
 — Что ты видишь? — но ответа не дал  
 Сын его с седой бородою.  
 И когда над ним склонились братья,  
 То увидели, что он не дышит,  
 Что лицо его темнее меди  
 Исковеркано руками смерти.

Ух, как женщины заголосили,  
 Как заплакали, завыли дети,  
 Старый бороденку дергал, хрипло  
 Страшные проклятья выкликая.  
 На ноги вскочили восемь братьев,  
 Крепких мужей, ухватили луки.  
 — Выстрелим, — они сказали, — в небо  
 И того, кто бродит там, подстрелим...  
 Что нам это за напасть такая? —  
 Но вдова умершего вскричала:  
 — Мне отмщенье, а не вам отмщенье!  
 Я хочу лицо его увидеть,  
 Горло перервать ему зубами



И когтями выцарапать очи. —

Крикнула и брякнулась на землю,  
 Но глаза зажмуривши, и долго  
 Про себя шептала заклинанья,  
 Грудь рвала себе, кусала пальцы.  
 Наконец взглянула, усмехнулась  
 И закуковала, как кукушка:

— Лин, зачем ты к озеру? Линойя,  
 Хороша печенка антилопы?  
 Дети, у кувшина нос отбился,  
 Вот я вас! Отец, вставай скорее,  
 Видишь, зенды с ветками омелы  
 Тростниковые корзины тащут,  
 Торговать они идут, не биться.  
 Сколько здесь огней, народа сколько!  
 Собралось все племя... славный праздник! —

Старый успокаиваться начал,  
 Трогать шишки на своих коленях,  
 Дети луки опустили, внуки  
 Осмелели, даже улыбнулись.  
 Но когда лежавшая вскочила  
 На ноги, то все позеленели,  
 Все вспотели даже от испуга:  
 Черная, но с белыми глазами  
 Яростно она метнулась, воя:  
 — Горе, горе! Страх, петля и яма!  
 Где я? Что со мною? Красный лебедь  
 Гонится за мной... Дракон трехглавый  
 Крадется... Уйдите, звери, звери!  
 Рак, не тронь! Скорей от козерога! —

И когда она все с тем же воем,  
 С воем обезумевшей собаки,  
 По хребту горы помчалась к бездне,  
 Ей никто не побежал вдогонку.

Смутные к шатрам вернулись люди,  
 Сели вдруг на скалы и боялись.  
 Время шло к полуночи. Гиена  
 Ухнула и сразу замолчала.  
 И сказали люди: — Тот, кто в небе,  
 Бог иль зверь, он, верно, хочет жертвы.  
 Надо принести ему телицу  
 Непорочную, отроковицу,  
 На которую досель мужчина

Не смотрел ни разу с вождельем.  
 Умер Гар, сошла с ума Гарайя,  
 Дочери их только восемь весен,  
 Может быть, она и пригодится. —  
 Побежали женщины и быстро  
 Притащили маленькую Гарру,  
 Старый поднял свой топор кремневый,  
 Думал — лучше продолбить ей темя,  
 Прежде чем она на небо взглянет,  
 Внучка ведь она ему, и жалко.  
 Но другие не дали, сказали:  
 — Что за жертва с теменем долбленным? —

Положили девочку на камень,  
 Плоский, черный камень, на котором  
 До сих пор пылал огонь священный,  
 Он погас во время суматохи.  
 Положили и склонили лица,  
 Ждали, вот она умрет, и можно  
 Будет всем пойти заснуть до солнца.

Только девочка не умирала,  
 Посмотрела вверх, потом направо,  
 Где стояли братья, после снова  
 Вверх и захотела спрыгнуть с камня.  
 Старый не пустил, спросил: — Что видишь?  
 И она ответила с досадой:  
 — Ничего не вижу. Только небо  
 Вогнутое, черное, пустое  
 И на небе огоньки повсюду,  
 Как цветы весною на болоте. —  
 Старый призадумался и молвил:  
 — Посмотри еще! — И снова Гарра  
 Долго, долго на небо смотрела.  
 — Нет, — сказала, — это не цветочки,  
 Это просто золотые пальцы  
 Нам показывают, что случилось,  
 Что случается и что случится. —

Люди слушали и удивлялись:  
 Так не то что дети, так мужчины  
 Говорить доньне не умели,  
 А у Гарры пламенели щеки,  
 Искрились глаза, алели губы,  
 Руки поднимались к небу, точно  
 Улететь она хотела в небо,  
 И она запела вдруг так звонко,  
 Словно ветер в тростниковой чаше,

Ветер с гор Ирана на Евфрате.

Мелле было восемнадцать весен,  
И она не ведала мужчины,  
Вот она упала рядом с Гаррой,  
Посмотрела и запела тоже.  
А за Меллой Аха, и за Ахой  
Урр, ее жених, и вот все племя  
Полегло, и пело, пело, пело,  
Словно жаворонки жарким полднем  
Или смутным вечером лягушки.

Только старый отошел в сторонку,  
Зажимая уши кулаками,  
И слеза катилась за слезою  
Из его единственного глаза.  
Он свое оплакивал паденье  
С кручи, шишки на своих коленях,  
Гара, и вдову его, и время  
Прежнее, когда смотрели люди  
На равнину, где паслось их стадо,  
На воду, где пробегал их парус,  
На траву, где их играли дети,  
А не в небо черное, где блещут  
Недоступные, чужие звезды.

<1911>

Ещё не раз Вы вспомните меня  
И весь мой мир, волнующий и странный,  
Нелепый мир из песен и огня,  
Но меж других единый необманный.

Он мог стать Вашим тоже, и не стал,  
Его Вам было мало или много,  
Должно быть плохо я стихи писал  
И Вас неправедно просил у Бога.

Но каждый раз Вы склонитесь без сил  
И скажете: «Я вспоминать не смею,  
Ведь мир иной меня обворожил  
Простой и грубой прелестью своею».

<Июль 1917>

*Эзбекие*

Как странно — ровно десять лет прошло  
С тех пор, как я увидел Эзбекие,  
Большой каирский сад, луною полной  
Торжественно в тот вечер освещенный.

Я женщиною был тогда измучен,  
И ни соленый, свежий ветер моря,  
Ни грохот экзотических базаров,  
Ничто меня утешить не могло.  
О смерти я тогда молился Богу  
И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен  
Священным рощам молодого мира:  
Там пальмы тонкие взносили ветви,  
Как девушки, к которым Бог нисходит;  
На холмах, словно вещи друиды,  
Толпились величавые платаны,

И водопад белел во мраке, точно  
Встающий на дыбы единорог;  
Ночные бабочки перелетали  
Среди цветов, поднявшихся высоко,  
Иль между звезд, — так низко были звезды,  
Похожие на спелый барбарис.

И, помню, я воскликнул: «Выше горя  
И глубже смерти — жизнь! Прими, Господь,  
Обет мой вольный: что бы ни случилось,  
Какие бы печали, униженья  
Ни выпали на долю мне, не раньше  
Задумаюсь о легкой смерти я,  
Чем вновь войду такой же лунной ночью  
Под пальмы и платаны Эзбекие».

Как странно — ровно десять лет прошло,  
И не могу не думать я о пальмах,  
И о платанах, и о водопаде,  
Во мгле белевшем, как единорог.  
И вдруг оглядываюсь я, слыша  
В гуденьи ветра, в шуме дальней речи  
И в ужасающем молчаньи ночи  
Таинственное слово — Эзбекие.

Да, только десять лет, но, хмурый странник,  
Я снова должен ехать, должен видеть

Моря, и тучи, и чужие лица,  
Всё, что меня уже не обольщает,  
Войти в тот сад и повторить обет  
Или сказать, что я его исполнил  
И что теперь свободен...

<1918>

*Заблудившийся трамвай*

Шел я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний гай,  
И звоны лютни, и дальние громы,  
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкою для меня,  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времен...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,  
Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,  
Бросил нам вслед пытливый взгляд  
Нищий старик, — конечно тот самый,  
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.

Вывеска... кровью налитые буквы  
Гласят — зеленная, — знаю, тут  
Вместо капусты и вместо брюквы  
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом как вымя,  
Голову срезал палач и мне,  
Она лежала вместе с другими  
Здесь в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,

Мне, жениху ковер ткала,  
Где же теперь твой голос и тело,  
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,  
Я же с напудренною косой  
Шел представляться Императрице,  
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода  
Только оттуда бьющий свет,  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,  
И за мостом летит на меня  
Всадника длань в железной перчатке  
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья  
Врезан Исакий в вышине,  
Там отслужу молебен о здравьи  
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,  
И трудно дышать, и больно жить...  
Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить.

<1920>



*Шестое чувство*

Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей  
Над холодеющими небесами,  
Где тишина и неземной покой,  
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.  
Мгновение бежит неудержимо,  
И мы ломаем руки, но опять  
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,  
Следит порой за девичьим купаньем,  
И ничего не зная о любви,  
Всё ж мучится таинственным желаньем.

Как некогда в разросшихся хвощах  
Ревела от сознания бессилья  
Тварь скользкая, почуя на плечах  
Еще не появившиеся крылья.

Так век за веком — скоро ли, Господь?  
Под скальпелем природы и искусства  
Кричит наш дух, изнемогает плоть,  
Рождая орган для шестого чувства.

<1920>

**Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939)***Путём зерна*

Проходит сеятель по ровным бороздам.  
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,  
Но в землю чёрную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,  
Оно в заветный срок умрёт и прорастёт.

Так и душа моя идёт путём зерна:  
Сойдя во мрак, умрёт — и оживёт она.

И ты, моя страна, и ты, её народ,  
Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:  
Всему живущему идти путём зерна.

<1917>

*Обезьяна*

Была жара. Леса горели. Нудно  
 Тянулось время. На соседней даче  
 Кричал петух. Я вышел за калитку.  
 Там, прислонясь к забору, на скамейке  
 Дремал бродячий серб, худой и черный.  
 Серебряный тяжелый крест висел  
 На груди полуголой. Капли пота  
 По ней катились. Выше, на заборе,  
 Сидела обезьяна в красной юбке  
 И пыльные листы сирени  
 Жевала жадно. Кожаный ошейник,  
 Оттянутый назад тяжелой цепью,  
 Давил ей горло. Серб, меня заслышав,  
 Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я  
 Воды ему. Но, чуть ее пригубив,—  
 Не холодна ли,— блюдце на скамейку  
 Поставил он, и тотчас обезьяна,  
 Макая пальцы в воду, ухватила  
 Двумя руками блюдце.  
 Она пила, на четвереньках стоя,  
 Локтями опираясь на скамью.  
 Досок почти касался подбородок,  
 Над теменем лысеющим спина  
 Высоко выгибалась. Так, должно быть,  
 Стоял когда-то Дарий, припадая  
 К дорожной луже, в день, когда бежал он  
 Пред мощною фалангой Александра.  
 Всю воду выпив, обезьяна блюдце  
 Долой смахнула со скамьи, привстала  
 И — этот миг забуду ли когда? —  
 Мне черную, мозолистую руку,  
 Еще прохладную от влаги, протянула...  
 Я руки жал красавицам, поэтам,  
 Вождям народа — ни одна рука  
 Такого благородства очертаний  
 Не заключала! Ни одна рука  
 Моей руки так братски не коснулась!  
 И, видит Бог, никто в мои глаза  
 Не заглянул так мудро и глубоко,  
 Воистину — до дна души моей.  
 Глубокой древности сладчайшие преданья  
 Тот нищий зверь мне в сердце оживил,  
 И в этот миг мне жизнь явилась полной,  
 И мнилось — хор светил и волн морских,  
 Ветров и сфер мне музыкой органной  
 Ворвался в уши, загремел, как прежде,

В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.  
Присев ему на левое плечо,  
Покачивалась мерно обезьяна,  
Как на слоне индийский магараджа.  
Огромное малиновое солнце,  
Лишенное лучей,  
В опаловом дыму висело. Изливался  
Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

<7 июня 1918, 20 февраля 1919>

*Гостю*

Входя ко мне, неси мечту,  
Иль дьявольскую красоту,  
Иль Бога, если сам ты Божий.  
А маленькую доброту,  
Как шляпу, оставляй в прихожей.

Здесь, на горошине земли,  
Будь или ангел, или демон.  
А человек — иль не затем он,  
Чтобы забыть его могли?

<1921>

*Баллада* (Из сборника «Тяжелая лира»)

Сижу, освещаемый сверху,  
Я в комнате круглой моей.  
Смотрю в штукатурное небо  
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещенные тоже,  
И стулья, и стол. и кровать.  
Сижу — и в смущеньи не знаю,  
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы  
На стеклах беззвучно цветут.  
Часы с металлическим шумом  
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость  
Безвыходной жизни моей!  
Кому мне поведать, как жалко  
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,  
Колени обнявши свои,  
И вдруг начинаю стихами  
С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!  
Нельзя в них понять ничего,  
Но звуки правдивее смысла  
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка  
Вплетается в пенье мое,  
И узкое, узкое, узкое  
Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,  
Над мертвым встаю бытием,  
Стопами в подземное пламя,  
В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —  
Глазами, быть может, змей, —  
Как пению дикому внемлют  
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец

Вся комната мерно идет,  
И кто-то тяжелую лиру  
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба  
И солнца в шестнадцать свечей:  
На гладкие черные скалы  
Стопы опирает — Орфей.

<9-22 декабря 1921>

Было на улице полутемно.  
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,  
Быстрая тень со стены сорвалась, —

Счастлив, кто падает вниз головой:  
Мир для него хоть на миг — а иной.

<23 декабря 1922>

<Saarow>



Перешагни, перескочи,  
Перелети, пере- что хочешь —  
Но вырвись: камнем из пращи,  
Звездой, сорвавшейся в ночи...  
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,  
Ища пенсне или ключи.

<Весна 1921, 11 января 1922>

*Перед зеркалом**Nel mezzo del cammin di nostra vita*

Я, я, я! Что за дикое слово!  
Неужели вон тот — это я?  
Разве мама любила такого,  
Желто-серого, полуседого  
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом  
Танцевавший на дачных балах, —  
Это я, тот, кто каждым ответом  
Желторотым внушает поэтам  
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры  
Всю мальчишечью вкладывал прыть,-  
Это я, тот же самый, который  
На трагические разговоры  
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на середине  
Рокового земного пути:  
От ничтожной причины — к причине,  
А глядишь — заплутался в пустыне,  
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками  
На парижский чердак загнала.  
И Виргилия нет за плечами, —  
Только есть одиночество — в раме  
Говорящего правду стекла.

<1924>

*Бедные рифмы*

Всю неделю над мелкой поживой  
Задыхаться, тошнить и дрожать,  
По субботам с женой некрасивой  
Над бокалом, обнявшись, дремать,

В воскресенье на чахлую траву  
Ехать в поезде, плед разложить,  
И опять задремать, и забаву  
Каждый раз в этом всем находить,

И обратно тащить на квартиру  
Этот плед, и жену, и пиджак,  
И ни разу по пледу и миру  
Кулаком не ударить вот так, —

О, в таком непреложном законе,  
В заповедном смиреньи таком  
Пузырьки только могут в сифоне,  
Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.

<1926>

*Дактили*

1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,  
 Бруни его обучал мягкой кистью водить.  
 Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,  
 В летнем пальтишке зимой перебежал он Неву.  
 А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,  
 Много он там расписал польских и русских церквей.

2

Был мой отец шестипалым. Такими рождаются счастливыцы.  
 Там, где груши стоят подле зеленой межи,  
 Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,  
 В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.  
 В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы.  
 Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!

3

Был мой отец шестипалым. Бывало, в сороку-ворону  
 Станем играть вечером, сев на любимый диван.  
 Вот, на отцовской руке старательно я загибаю  
 Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.  
 Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой  
 Тех пятерых прокормил — только меня не успел.

4

Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец  
 Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,  
 Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно  
 Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.  
 Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом  
 Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.

5

Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони  
 Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?  
 Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,  
 Демонской волей творца — свой созидает, иной.  
 Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,  
 Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

6

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,  
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки  
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,  
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу...  
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером  
И шестипалой строфой сын поминает отца.

<Январь 1927 - 3 марта 1928>

<Париж>

Не ямбом ли четырехстопным,  
Заветным ямбом, допотопным?  
О чем, как не о нем самом —  
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии  
К нам ангелами занесен,  
Он крепче всех твердынь России,  
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,  
За что и кто в Хотине пал,  
Но первый звук Хотинской оды  
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые  
Камена русская взошла  
И дивный голос свой впервые  
Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,  
Как оный славный «Водопад»,  
По четырем его порогам  
Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,  
Тем пенистой водоворот,  
Тем сокровенный лад певучий  
И выше светлых брызгов взлет —

Тех брызгов, где, как сон, повисла,  
Сияя счастьем высоты,  
Играя переливом смысла, —  
Живая радуга мечты.

Таинственна его природа,  
В нем спит спондей, поет пэон,  
Ему один закон — свобода,  
В его свободе есть закон.

<1938>

*Памятник*

Во мне конец, во мне начало.  
Мной совершённое так мало!  
Но всё ж я прочное звено:  
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,  
Поставят идол мой двуликий  
На перекрестке двух дорог,  
Где время, ветер и песок...

<28 января 1928>

<Париж>